

«В МОЛЧАНЬИ ТВОЕГО УХОДА УПРЕК НЕВЫСКАЗАННЫЙ ЕСТЬ...»

Цветаева¹ и Пастернак¹ Независимая газ. — 1993 — 2 марта, с. 7

Андрей Маргулев

Парка

МОМЕНТ личной трагедии Цветаевой — «потери» ею Пастернака (хотя внешне дружба их как бы и не прерывалась, как и переписка) совпал с общим кризисом ее эмигрантской жизни. Для русской эмиграции Парижа она стала чужой еще со времени публикации в 1928 году ее приветствия приехавшему Маяковскому. Вскоре изгоем стал и Сергей Эфрон, активный участник евразийского движения, выступавший за сотрудничество с советской властью. Тяжелое материальное положение, разлад в семье... Доходящее до травли неприятие со стороны новой, сложившейся в эмиграции литературной среды, которой не по плечу была ее высокая романтика, ее принципиально новая, предельно доверительная форма общения с читателем... В лучшем случае Цветаеву просто терпели; она была вне групп, вне связей и даже, по свидетельству современника, чисто внешне «резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношенным платьем, и неизгладимой печатью бедности». Но из неведомых глубин всякий раз поднимается в ней противодействие насилию жизни. Ибо: «Всякий

ство Союза Сов. Писателей о предоставлении жилплощади в доме по Лаврушинскому пер. нижеуказанным пайщикам-писателям, имеющим недостаточный полезный стаж, но являющимся в литературно-общественной деятельности ценными писателями...» «Нижеуказанные» — Эренбург, Пастернак, Эфрос, Лежнев. А присутствует и ходатайствует на первом заседании от ССП все тот же Ставский.

Цветаева как никто другой понимала, что именно ждет ее в Советской России. Еще в 1931 году, когда Сергей Эфрон впервые подал в советское консульство прошение о советском паспорте, она пишет: «Я там не уцелею, ибо негодование — моя страсть, а есть на что...» И: «Там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей, — там мне и писать их не дадут». Но отсутствующий у нее «дар слепости» с избытком компенсировался у мужа, а вслед за ним — и у детей. В 1937 году в СССР выезжает дочь Ариадна, а затем и Сергей Эфрон — после его фактического разоблачения в парижской прессе как агента НКВД. А Цветаева все медлила перед лицом неотвратимого, понимая, что невозможна в новой России «я — не умеющая не ответить, я, не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я назвала его великим... и, может быть, важнее всего — ненавижу каждую торжествующую казенную церковь...» 18 июня 1939 года давшая когда-то обет не расставаться с мужем Цветаева приезжает в Москву...

Сразу после самоубийства Цветаевой Пастернак писал жене в Чистополь (туда, где еще лежало заявление Марины Ивановны: «В Совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую...»): «Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в интеллигентном обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее личным другом и по многим другим причинам, я отошел от нее и не назывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно». «Входила в моду»? Входила в очередную полосу бедствий. «Стало очень лестно числиться ее личным другом»? Скорее — слишком хлопотно. Ровно за год до смерти она пишет В. А. Меркурьевой: «У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть... совершенно чужие люди. Это — хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова — интонации — заливаюсь слезами, как скала водой водопада. (...) Я не в своей роли — скалы под водопадом: скалы, вместе с водопадом падающей на (совесть) человека... Попытки моих друзей меня растрепывают и расстраивают. Мне — совестно: что я еще жива». И через пять дней — в записную книжку: «Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) иду глазами — кряком...» Этот кряк она стала искать, когда вслед за дочерью (27 августа) был арестован 10 сентября 1939 года и ее муж Сергей Эфрон.

Жена «врага народа», бездомная скиталица с пятнадцатилетним сыном на иждивении... «Моя жизнь очень плохая. Моя не-жизнь», — из того же письма Меркурьевой. А за четыре дня до него она обращается к Павленко — крупному литературному чиновнику, подробно описывая свои жилищные злоключения, и заканчивает обращение так: «Я не истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича. Но — меня жизнь за этот год — добила. Исхода не вижу. Взываю о помощи». Это обращение сопровождалось личным письмом Пастернака к Павленко.

Впоследствии в стихотворении «Памяти Марины Цветаевой» будет признание:

*Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой-милонершей
Средь голодающих сестер.*

поэт по существу эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы. На поэте — на всех людях искусства — но на поэте больше всего — особая печать неутоления, по которой даже в его собственном доме — узнаешь поэта».

У Пастернака в это время были проблемы иного рода: не «отпасть от истории», но в то же время и «не жертвовать лицом ради положения», к чему он призвал советских писателей с трибуны их первого всесоюзного съезда (29 августа 1934 г.): «При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать социалистическим сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине». Но сам этот призыв держать «подальше от этой ласки», исходящий от человека, выдвигаемого в то же время на должность «первого поэта», был вполне созвучен общепринятым демонстрациям лояльности режиму. Сам Пастернак отчетливо этого не осознавал — тем невыносимее стала его жизнь, когда он понял, что обязан платить чем-то таким, что «выполнимо только путем подлога», как он выразился впоследствии, одновременно признавая, что в тот период «не было чепухи и гадости, которую я бы ни сказал или ни написал и которой бы ни напечатала». Он уже не принадлежал себе и не смел отказаться, когда уса-тый «благодетель» (как называл его Пастернак) приказал ему ехать в составе делегации на Международный конгресс писателей в защиту культуры, открывшийся в июне 1935 года в Париже. Тогда-то и состоялась «катастрофа» их с Цветаевой «невстречи».

Почему-то считается, что Пастернак не смог достаточно связно обрисовать ей — что? — то ли положение в СССР, то ли причину того, что ему пришлось против своей воли подчиниться и ехать. Это впечатление возникает оттого, что у Цветаевой не наблюдается какой-либо соответствующей (по нашим сегодняшним представлениям) реакции. Но, во-первых, понятно, что невозможность своего отказа от поездки Пастернак подкреплял и каким-нибудь «добрым идейным» соображением («...В ответ на слезы мне — «Колхозы!» В ответ на чувства мне — «Челюскин!»). Во-вторых, она и без того полагала свое возвращение в Россию немислимым, да и как мог «по-настоящему» предостеречь ее Пастернак, сам в это время продолжавший уговаривать возвратиться в Россию своего отца, известного художника Л. О. Пастернака (которого фактически спасла его племянница — двоюродная сестра Пастернака О. Фрейденберг: «Но я умоляла его в условных выражениях... не приезжать, и он послушал меня, спасшись от казни. Все его московские друзья были умерщвлены»).

В августе следующего, 1936 года, имя Пастернака появилось в одной из московских газет под письмом, требующим смертной казни для шестнадцати подсудимых показательного процесса группы Каменева — Зиновьева. Подпись поставили помимо его воли, но кому уже было до этого дело? Его имя стало государственной собственностью. Сам Пастернак полагал, что «именно в 36 году... все сломилось во мне, и единение со временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал», однако все это «сопротивление» уходило в работу над романом и уж во всяком случае не покидало стен совписовской кухни. История с подписью благополучно повторилась в 1937 году во время процесса военачальников — Якира, Тухачевского и других: «... Я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно...» Вполне вероятно, что в это время Пастернак действительно был готов принести себя в жертву, но это уже было. «Благодетелю» нужен был живой Пастернак — вот почему всеисильный генеральный секретарь Союза писателей В.П. Ставский, одним росчерком пера уничтоживший в 1938 году Мандельштама, несмотря на свою неприязнь к Пастернаку, боялся заходить в ней слишком далеко, не забывая помимо кнута и о пряника. Так, публично он объявляет в ноябре-декабре 1936 года новые стихи Пастернака «клеветой на советский народ». А 21 декабря состоится заседание президиума Мосгоржилстройсоюза по рассмотрению списка жилплощади в новом шикарном писательском доме. Пункт второй постановления гласит: «Согласиться с решением собрания уполномоченных РЖСКТ и постановлением комиссии ЦЖС от 15/X-36 г., а также учитывая ходатай-



В письме к Павленко — то же его, Пастернака, ощущение, но уже переданное в недопустимо снисходительной форме уверенности: если Цветаева чем-то грозит — не воспринимай этого буквально, она этого не сделает. И, конечно, Пастернак этого уже не мог никогда себе простить.

Что сделать мне тебе в угоду?

Дай как-нибудь об этом весть.

В молчаньи твоего ухода

Упрек невысказанный есть.

«В угоду» Цветаевой (о чем свидетельствовал сам Пастернак) оказался написан — именно таким, каким он вошел в души миллионов, — роман «Доктор Живаго». И еще: «Смерть Цветаевой была для меня самым большим горем моей жизни» — услышит американская журналистка от Пастернака за пять месяцев до его собственной кончины...

«Я знаю, существует легенда о том, что она покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии, — скажет через много лет Анна Ахматова дочери Марины Ивановны, — не верьте этому. Ее убило время, нас оно убило, как оно убивало многих...»

А Цветаева в 1926 году писала так (о Есенине):

...И не жалость — мало жил,

И не горечь — мало дал,

Много жил — кто в наши жил

Али все дал — кто в наши дал